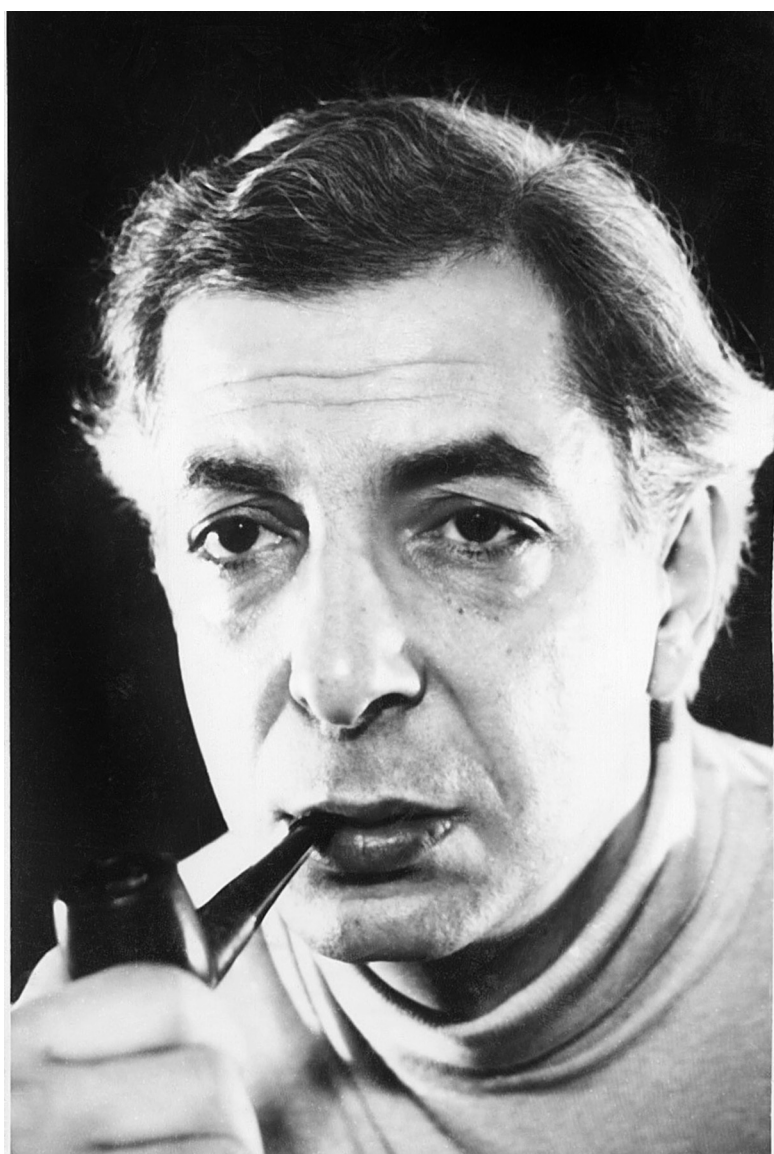


КАРТИНА
ВРЕМЕНИ





Микаэл Таривердиев

Я ПРОСТО ЖИВУ

Издательство АСТ
Москва

УДК 78.017.1:929(470)

ББК 85.313(2)6-8

T19

Таривердиев, Микаэл Леонович.

T19 Я просто живу... / М. Л. Таривердиев— Москва: Издательство АСТ, 2025. — 320 с. — (Картина времени).

ISBN 978-5-17-167851-7

Микаэл Таривердиев — знаковое имя для любителей музыки, его работы стали неотъемлемой частью нашей культуры. Композитор, народный артист России, автор музыки к 132 фильмам, инструментальных концертов, опер, балетов, вокальной музыки. Эта книга — чуткий и вкрадчивый рассказ о времени, творчестве и окружении. На страницах своих мемуаров Микаэл Леонович рассказал о том, как начинался его путь в музыке, о мимолетных и судьбоносных встречах. В книге вы встретите череду знакомых имен: А. Хачатурян, Э. Рязанов, А. Миронов, А. Вознесенский и других деятелей культуры и искусства, которые сформировали культурный контекст на долгие десятилетия вперед.

УДК 78.017.1:929(470)

ББК 85.313(2)6-8

ISBN 978-5-17-167851-7

© Таривердиева В.Г., 2024

© Таривердиева В.Г.,
текст, фото, 2024

© Оформление. ООО
«Издательство АСТ», 2025

Тбилиси — полифонический город



«Разве не заметно, что я — единственный», — отвечаю я, когда меня спрашивают, есть ли у меня брат или сестра.

Синее небо моего детства, небо Тбилиси, жаркое лето, воздух, напоенный запахом южной зелени и настолько густой, что, кажется, его можно резать ломтями. И мама. Мама, которая идет мне навстречу. У меня захватывает дух, я не вижу ее лица — только сияние, исходящее от него.

Дом, в котором я родился, когда-то весь принадлежал нашей семье, вернее, семье моей мамы. Старинный, построенный в виде буквы «П», он всегда казался мне громадным. Когда я увидел его много позже, он показался мне меньше. Или просто я стал взрослым? Это был красивый, даже для Тбилиси, дом в три этажа с большим двором, в котором был фонтан и огромное тутовое дерево.

От дома к реке спускался парк около километра длиной. Рядом с домом — церковь или, скорее, часовня. В общем, родовое гнездо. Акоповы — фамилия моей мамы — хорошо были известны в Тбилиси. Один из дядей моей мамы был какое-то время городским головой. А еще был беспутный дядюшка. Он считался чрезвычайно легкомысленным и постоянно подвергался

осуждению, хотя был человеком вполне безобидным. Когда он загуливал, ехал кутить, то нанимал три экипажа. В одном ехал он сам, в другом ехала его шляпа, в третьем — трость. Даже до меня дошли возмущенные рассказы о его поведении. Странно, но в Тбилиси сохранилось немало людей как бы из прошлого, из старой жизни. Во многом именно они задавали тон в городе даже в советское время. В Грузии слово «товарищ» не вытеснило слово «господин». К старшим часто обращались «батано». А старые фамилии по-прежнему пользовались уважением.

Наш дом после революции экспроприировали. В парке был построен санаторий, а в самом доме поселили разных людей. Сначала нам оставили три комнаты, потом две, а когда отец с матерью переехали в государственную квартиру, оставшаяся часть семьи ютилась уже в одной.

Кура, шумная, бьющая по гранитным набережным, а там, где их нет — по отшлифованным камням. Я долго был убежден, что реки бывают только такими. Они просто должны быть стремительными, коварными, с водоворотами, которые таят в себе заволаживающую опасность. Конечно, я читал о других реках, но, когда оказался в России и впервые увидел Волгу, я изумился спокойствию и равнодушию огромной массы воды, которая никуда не стремится. И только кинув палочку, я понял, что водная масса все-таки движется. Это было совсем не похоже на ту горную реку, в которой семилетний мальчишка, каким я себя помню, никак не может устоять на ногах.

Лето. Мама ушла на работу. Отец тоже. Я болтаюсь без дела при Марусе — домработнице, которая жила с нами. Маруся тоже куда-то отправляется, а дворовые мальчишки зовут меня в бассейн. Мне ужасно интересно, ведь это первый настоящий плавательный бассейн в Тбилиси. Мы долго едем на трамвае, но зря — воду спустили: профилактика. Мы бежим к реке, это совсем недалеко. Ребята решили искупаться — в этом месте набережной нет. Стали раздеваться. Сняли рубашки, сняли сандалии, брюки. Прыгнули в воду. И я тоже. Но плавать я не умею.

Сказать стесняюсь. Меня несет, но я молчу. Ребята понимают, что происходит, — я среди них самый младший, — и начинают кричать. Какой-то незнакомый молодой человек прыгает в воду, подхватывает меня, но выйти на берег тоже не может. И мы плывем вдоль берега. Я помню, что все время спрашивал его: «Вам удобно?» — «Заткнись, не мешай!» — кричал он. Так он проплыл со мной полгорода, от цирка до рынка, наверное километра полтора, пока не появилась набережная и лестница. Там парень меня вытащил, и мы, мокрые, пошли обратно. Только тогда я действительно испугался. Почему я не сказал, что не умею плавать?

Вернувшись домой, тайно высушил одежду. Ночью мне стал сниться бурный поток. Вода меня несет, а я тону, тону. Я не спал несколько дней. У меня поднялась температура. Мама допытывалась, в чем дело. Но я молчал. Уже потом она случайно узнала об этой истории.

А к Марусе по субботам приходил солдат. Он сидел на кухне и пил чай. Это вызывало во мне живейшее любопытство. Как-то в субботу Маруся повела меня в парк культуры и отдыха. Там только что построили парашютную вышку. Здоровенную. Она привела меня в абсолютное исступление. Я до сих пор помню это совершенно сумасшедшее желание прыгнуть с вышки. Но как это сделать втайне от Маруси? Тут как раз очень кстати появился солдат и стал весело болтать с нею. Я же, выпросив немного мелочи на мороженое, оказался у кассы парашютной вышки.

— Мне билет, — протянул я гривенник.

— Нет, мальчик, нужно взвеситься, — ответила кассирша.

Я взвесился.

— Можешь. — Билет мне был продан.

Я побежал к лестнице. Но чем выше я поднимался, заглядывая через решетки вышки, чем дальше от меня удалялась земля, тем меньше мне хотелось прыгать. И я стал уступать дорогу тем, кто поднимался за мной. И все-таки я поднялся. Когда взглянул

вниз, душа ушла в пятки. Нет, не в пятки. Душа целиком влезла в горло. В животе стало холодно, а сердце стучало в глотке, в носу, в ушах, в глазах. Но не в пятках. И я опять не говорю: «Я не хочу». Я позволяю служителю надеть на меня брезентовые лямки. Огромный раскрытый парашют сам тянет меня к барьеру. Барьер распахивается, меня выбрасывает, и я, как куль, ухую вниз. Лечу камнем, пока стропы не натягиваются, и зависаю в нескольких десятках метров над землей. Веса не хватает, чтобы приземлиться, — мне всего пять лет. Я вижу, как моя Маруся бегает вместе с солдатом внизу, все такое маленькое-маленькое, люди кричат. Я подтягиваюсь на руках и все-таки постепенно спускаюсь. В голове — одна мысль. Чтобы Маруся не сказала маме. Об этой истории мама узнала через много лет.

А вот об истории с пистолетом так никто и не узнал. У меня был друг Игорь Агладзе (Агладзе — известная в Грузии фамилия, отец Игоря был инженером, дядя — президентом Академии наук Грузии). Как-то мы с ним были у меня дома. Одни. И вдруг обнаружили ключи от ящика отцовского письменного стола. Движимые любопытством, открыли и увидели настоящий браунинг! Отдельно лежала кобура и начатая пачка патронов. Удержаться от того, чтобы не пострелять, мы не могли. Мы помчались на чердак — наша квартира была на последнем этаже, — забрались на крышу и, как сейчас помню, выстрелили в водосточную трубу. Один раз он, один раз я. Что началось! Свистки, суета, мы мигом спустились домой, почистили пистолет подсолнечным маслом, отстрелянные гильзы спустили в унитаз. Тут-то и раздался звонок в дверь. Дело в том, что наш дом находился на улице, по которой ездил на работу и с работы первый секретарь ЦК Грузии Чарквиани. Перед тем как должен был появиться Чарквиани в своем роскошном «ЗИС-110», улица заполнялась людьми, энкавэдэшниками. Именно в такой момент мы и затеяли стрельбу.

— Не слышали ли вы стрельбу? — спросили появившиеся в дверях люди в черных костюмах.

— Нет, — ответили мы. — Кажется, хлопнула хлопушка.

— А кто дома из взрослых?

— Никого.

Они прошли в квартиру, все осмотрели, убедились, что никого нет, и ушли, убежденные, что семилетние мальчишки стрелять не могли. Что было бы с отцом, если бы они нас заподозрили!



В городе появлялся запах арбуза. Свежего арбуза. Это шел снег. Снежинки таяли на лету, асфальт покрывался дождевой пленкой. Ужасно обидно! Но иногда все же снег покрывал землю, вечнозеленые деревья. Это был праздник! Мы высыпали на улицу, тащили запряженные по чуланам санки, веселье продолжалось до первых солнечных лучей. Снег исчезал. Но весной все вновь становилось белым — цвели вишни. И сирень, огромное количество сирени. Ужасно любил праздник Первого мая. Черешню продавали прямо на улицах. Гроздь черешни, нанизанной на палочки, как виноград. Мороженщицы, веселые, в чистых белых халатах, с повозками на двух колесах с ручкой.

Дом, в котором прошли мои детство и юность, стоял на горе. Он тоже был построен в виде буквы «П». Балконы выходили во внутренний двор, располагавшийся на трех уровнях, которые соединялись между собой двумя полукруглыми лестницами. Окна распахнуты, и отовсюду несется музыка. Шуберт. Этюды Черни. Из какого-то окна — неумело подбираемая грузинская мелодия. Где-то звучит радио. Все это смешивается, но не создает впечатления дисгармонии. Музыка звучит негромко, ненавязчиво. Она как бы часть жизни, продолжение этого двора, этого города. Она не выставляется напоказ. Она просто живет. Иногда вечерами за каким-нибудь окном, а то и просто на балконе собираются мужчины, и начинается знаменитое грузинское музицирование, абсолютно непонятное мне и по сей день.

Как люди, никогда нигде не учившиеся, встречающиеся, быть может, в первый раз, с такой точностью на ходу аранжируют мелодию на четыре, пять, шесть голосов? Это полифония самого высокого класса. Не могу этого понять и восхищаюсь бесконечно.

Возможно, предки грузин жили в горах, и полифонические ходы, такие, как канон, были подсказаны им эхом гор, а потом родились более сложные формы? Может быть, сама земля эта столь удивительно красива и щедра, что не петь невозможно? Я не знаток фольклора, и в грузинском мелосе есть, наверное, песни и о тяжелой доле. Но то, что я слышал в детстве, — это песни о любви, о нежности, о красоте. Я вырос на этом пении. И еще на Шуберте.

Моя тетка Маргарита училась в консерватории. Это была младшая сестра моей матери, всеобщая любимица. Веселая и легкомысленная. Она признавала только одного композитора — Шуберта. Из-за этого у нее были постоянные неприятности с педагогами. Она не хотела учиться по программе, она хотела петь только Шуберта. Ее голос лучше всего звучал, как она считала, в туалете. Она там закрывалась и пела. Кончилось тем, что с третьего курса она ушла из консерватории. Но первая музыка, которую я вспоминаю осознанно, были романсы и песни Шуберта. Я люблю их и по сей день. Они по-прежнему вызывают во мне восторг своей прозрачностью, чистотой, благородством.

Музыкой я стал заниматься почти случайно. Просто у наших соседей был рояль. Я стал так часто к ним наведываться и брыньчать, что сосед, не выдержав, сказал: «Пусть папа купит тебе пианино». Так все и началось. Очень быстро мне надоело играть гаммы, упражнения, пьесы Майкапара и сочинения типа «Похороны куклы». Какая кукла! Никакой куклы у меня не было! Само название унижало мое достоинство. А играть пьесы сложнее я пока не мог. Так что же делать? Я стал делать то, что мне было интересно, — сочинять.

Главной моей мечтой было научиться записывать. Любопытная вещь. Когда я научился записывать, я понял один закон: первая стадия обучения или умения — ты записываешь музыку, и на поверку она оказывается гораздо беднее и неинтереснее того, что ты воображал и играл. Следующая стадия — ты записываешь придуманную музыку, и она звучит так, как ты себе ее представлял. И уже гораздо позже — ты записываешь сочиненную музыку, и она звучит интереснее, чем ты воображал. Но это я понял много лет спустя.

Моя мама относилась ко всему очень серьезно. Учиться так учиться. А у меня появилась новая страсть — чтение. Я читал все подряд, безостановочно, я пытался обмануть маму и Марусю. Ставил на пюпитр книжку, под нее что-то импровизировал.

Мама, приходя с работы, интересовалась у Маруси:

— Играл?

— Играл.

Ведь, занимаясь своими делами на кухне, она и вправду слышала мои экзерсисы. В результате у меня развилась довольно высокая техника. Просто я много читал.

Ощущение красоты, детское ощущение любви, когда кажется, что весь мир тебя любит. Не только твои родители, но и все, все, все. Когда не покидает ощущение, что только выйди в мир — и ты получишь нежность прохожих в ответ на свою. Я помню это свое доверие ко всем вокруг.

А еще я помню шепотки, разносившиеся по двору. Что-то скрывали от детей, но мы многое понимали, и многое, очень многое, врезалось в детскую память. «Взяли дядю Левона с третьего этажа. И тетю Нино с четвертого». Сначала шепотков было меньше, потом взрослые шептались все чаще. Что означало слово «взяли»? Куда взяли? Когда они вернуться? Я не мог понять. Много позже стало ясно, что оттуда, куда «взяли», мало кто возвращался.

Я дружил с двумя девочками. Их звали Джемма и Джесси. Мы жили на одном этаже. Взяли их мать. Во дворе шептались,

стараясь, чтобы мы, дети, не слышали. Но на самом деле мы иногда знали больше всех остальных, взрослых. Про мать Джеммы и Джесси говорили, что ее НКВД взял за то, что она турецкая шпионка. У меня это никак не укладывалось в голову. Шпионов я знал, я их видел в фильме «Ошибка инженера Кочина». Видели мы шпионов и в других фильмах. Они были коварными, двуличными, злобными. Слово «шпионка» никак не вязалось с обликом матери Джеммы и Джесси, от которой пахло сдобным печеньем — она им всегда угощала детей, в том числе и меня, — у которой были такие добрые руки, такие добрые глаза. Но когда я сказал об этом нашему сапожнику Сурену, что сидел в подвале, в маленькой каморке, заставленной старыми башмаками, морщинистый добрый человек ответил: «Замолчи и никогда об этом никому не говори. Иначе будет плохо твоим папе и маме». Он почему-то курил не папиросы, а всегда скручивал что-то из прозрачной бумаги. Это вызывало во мне живейший интерес.

У Сурена была большая семья. Он много работал, чтобы ее прокормить. Когда мы приходили к нему в каморку, он выгонял нас: «Тут пахнет кожей, ступайте на улицу». Это был удивительно спокойный человек, смирившийся со всем — с нищетой, со своей судьбой, а главное — с отсутствием каких-либо надежд. Впрочем, может быть, я это додумываю сейчас, для себя. Может быть, он и не ждал ничего, ничего не требуя от жизни. Он тихо напевал старинные армянские песни. Любимая его песня «Ах сирун, сирун» («Ах любовь, любовь»). Если он не пел, то молчал. Он никогда не назначал цену за свою работу, брал то, что ему давали. Люди вели себя по отношению к нему удивительно порядочно: даже те, что были бедны, давали ему порой больше, чем стоила его работа.

Наша семья во дворе считалась состоятельной. Отец был директором Госбанка Грузии. За ним приезжала машина. Как сейчас, помню этот черный «паккард». Почему «паккард», а не «эмка», не знаю. Один раз отец, когда я оказался у него

в банке, взял меня с собой в кладовую. Любопытная штука — он шел туда не один, а вместе с бухгалтером и кассиром. У каждого был свой ключ от своего замка. Всего же там их было три. Повернулось большое колесо, дверь открылась, и мы оказались среди полок, буквально набитых деньгами. На меня это не произвело никакого впечатления. Ну просто никакого. Другое дело — рубль. На него можно было многое купить...

Мама работала в Главном статистическом управлении и была заведующей отделом. Конечно, никакого богатства у нас не было, просто общественное положение, которое занимали родители, было основой такого к ним отношения. Возможно, отчасти это происходило по инерции. Многие знали, что мать родом из состоятельной старинной армянской семьи, об этом помнили.

Кстати, предки отца появились в Армении в XIII веке, вместе с христианским отрядом войска Чингисхана, где прапрапра-и так далее прадед был тысячником. Он был персидского происхождения, но осел в Армении.

В нашем доме жил еще один «обломок старой жизни». Удивительно интеллигентная семья. Месхишвили. Глава семьи когда-то был крупным юристом Грузии. Не принял революции, остался не у дел. Странно, но его не арестовали. Это был очень достойный человек, грузин в высоком смысле этого слова. Позже, когда арестовали моего отца и у нас конфисковали все, включая мое пианино, его жена, тетя Кето, сама пришла к маме и попросила пользоваться их роялем без стеснения. У них было два сына — Гиви и Лад, много старше меня, которые ко мне очень нежно относились. Один из них стал впоследствии крупным грузинским архитектором.

Двор был пестрым. Но дружба связывала всех. Когда НКВД выдирали из этой среды очередного заложника, никто не боялся общаться с семьей «врага народа». Я прекрасно помню, с какой заботой относились к этим семьям люди, окружавшие их.

Может быть, они втайне и боялись, но все же старались не дать им почувствовать себя одинокими.

Мне было около шести лет, когда однажды утром я услышал выстрел с соседнего балкона. Ни отца, ни матери не было дома. Меня некому было остановить, и я вместе с соседями вбежал в комнату, из которой раздался выстрел. И я увидел, что представляет собой череп человека, выстрелившего себе в рот. Мозги были размазаны по стене. Детей тут же прогнали, но позже я узнал, что крупный инженер Эркомаишвили застрелился, вернувшись домой с партийного собрания, где его объявили врагом народа. Он понимал, что не сегодня завтра к нему придут, и, чтобы спасти своих родных от ярлыка «семья репрессированного», предпочел застрелиться.

К нам во двор приходил шарманщик. Он был одет в старинный наряд кинто — черные шаровары, фуражку с лакированным козырьком. Он крутил шарманку, на которой сидела маленькая печальная обезьянка. Она была совсем не такая веселая, как те, о каких я читал в книжках Брема. Может быть, она была старая? А может быть, мы все ей надоели? Ведь каждый из нас пытался потрогать ее, но шарманщик отгонял нас, а по двору лились грустные, красивые старинные мелодии. Они и сейчас звучат у меня в ушах. Почему-то он никогда не пел. Вертел ручку одноногой шарманки, которая покачивалась от его движений. И обезьянка покачивалась вместе с ней. Когда приходил шарманщик, в окнах смолкала другая музыка. Может быть, из вежливости? А может быть, всем было любопытно послушать шарманщика? Ну мы-то, ребята, естественно, бросали все. А может быть, взрослым это напоминало ту старую или, как тогда говорили в Тбилиси, «мирную» жизнь? О ней вспоминали в общем-то с тоской. И те, кто при новой власти оказались у дел, и те, что были не у дел. И те, кто по тогдашним меркам были состоятельны, и те, что были бедны. И только мы, детвора, знали совершенно точно, что в те времена, по которым вздыхали взрослые, были буржуи и угнетенные. Мы знали точно, что

тогда всюду рыскала царская охранка и арестовывали хороших людей. И мы точно знали, что Павлик Морозов, который донес в ЧК на своего отца за утаенный мешок зерна, был настоящим пионером, достойным подражания. Взрослые слушали нас, никогда не возражали, но и не поддакивали. Интересно, что мы сами никогда не проецировали это на самих себя. Донести на своего отца? Это невозможно!

Война Тбилиси не затронула в прямом смысле этого слова. Практически не было бомбежек, не считая одной, в результате которой случайным снарядом был убит слон в зоопарке. Война затронула нас тем, что из каждой семьи уходили на фронт, многие семьи получили похоронки, о которых мы узнавали по крикам и плачу, раздававшимся то из одной, то из другой квартиры. Карточки на хлеб, скудная еда и затемненные окна. Мы играли в войну, ходили в противогазах, хотя никакой надобности в этом не было. О ходе войны узнавали из газет и репродукторов городской трансляционной сети, потому что радиоприемников уже не было. Перед войной только вошли в быт радиоприемники «СДВ-9» и «Т-6», здоровенные шкафы величиной с современный холодильник и с зеленым мигающим зрачком, похожим на кошачий глаз. Я помню, в нашей семье такой приемник появился в самый канун войны. Но очень скоро его потребовали сдать: никому не разрешалось слушать неотфильтрованные передачи.

В городе был комендантский час. После девяти вечера улицы пустели, окна зашторивались, свет и воду лимитировали и давали нерегулярно. Каждый человек мог израсходовать определенное число киловатт, и если режим был нарушен, свет отключали. Появились карточки. С едой было плохо. Об одежде я уже не говорю. Но все равно война коснулась Тбилиси гораздо меньше, чем тех городов, которые сами стали плацдармом военных действий.

Во время войны в Тбилиси приехало много прекрасных артистов. Из Москвы, Ленинграда. Они приехали в эвакуацию, но,